

Наташа Гринь
АПОПТОЗ

роман

Наташа Гринь
АПОПТОЗ



INSPIRIA

Москва

2023

УДК 821.161-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Г85

Дизайн обложки и макет: *Валерия Оганесян*

Фото цветка на обложке: *Ирина Коломина*

Г85 **Гринь, Наташа.**
Апоптоз / Наташа Гринь. — Москва : Эксмо,
2023. — 224 с.

ISBN 978-5-04-163371-4

Молодая преподавательница французского впервые сталкивается со смертью на похоронах своей бабушки, после чего каждодневный страх смерти полностью поглощает ее жизнь.

Страх превращается в желание отомстить миру и Богу за свою смертность, а желание приводит к действию, навязчивому и неотвратимому.

«Апоптоз» — дебютный роман Наташи Гринь. Экспериментальный текст, где детально исследуются вечные вопросы жизни и смерти.

УДК 821.161-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-04-163371-4

© Гринь Н., 2023
© Оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Моей семье

L'homme né de la femme! Sa vie est
courte, sans cesse agitée.

Il naît, il est coupé comme une fleur;

Il fuit et disparaît comme une ombre.

Job 14:1-2

ЗАПУСК

Всю ночь я ела апельсины. Немытые, взрезала им пупок тупым ножом, руками разламывала на части, выгибала их спину и с силой тянула сочную мякоть. По рукам кровью бежал холодный сок, повисал на локтях. Губы пульсировали, в уголках приятно щипало. Обезвоженные мешочки знакомо застревали в зубах. Я цепляла их ногтями. Кидала рваные корки прямо под ноги, на пол, мне так хотелось. Покончив с одним, кусала липкую кожу ладоней, оставляя на ней влажно-горячий след поцелуя, и принималась за следующий плод. Я ела жадно, истерично, по-мужски. Когда устала, бросила нож в апельсиновую лужу и, продавив корки пальцами ног, прошла в спальню. Усевшись на кровать, отряхнула апелькистями апельступни. Налипшие крошки с волосами слышно посыпались на ламинат. Я спала хорошо. Мне снился знакомый, который пытался меня изнасиловать.

Утром я обнаружила в кухонной раковине огромного, пружинистого паука. Я боюсь пауков. Мне хотелось по привычке закричать, но момент был упущен, и я промолчала. Просто стояла и смотрела на эту мерзость, испытывая удовольствие от негомого, сдерживаемого страха. Достала стакан, зачем-то продула пыль, перевернула дном вверх и накрыла им мертво-живую серость. Паук не дернулся. У меня в

голове тогда кто-то скучающе произнес — вот оно, значит, как — под стеклянным колпаком.

Рядом на столешнице прела грязная вчерашняя посуда, ее надо помыть, а иначе — опять ругань с сестрой и чистоплотный террор. Мой прикроватный столик, где вечно все навалено, сестра называет «паучий угол». В тот момент мне показалось это забавным. Я включила воду, увела кран влево, подальше от заключенного, смочила губку, выдавила средство для мытья посуды. Пожамкала. Мыла тарелки не глядя, наблюдала за пауком. Ничего, все так же бездвижен. Неровные брызги летели на стенки стакана, скапливались на дне, который теперь верх, сливались в маленькие лужи и текли вниз. А сквозь толщу стекла на это все смотрела проволочная убийца, подначивавшая во мне утробный, межреберный страх.

Отец учил нас с детства, что дьявол боится смеха. Хочешь перестать чего-то бояться — просто над этим посмейся. Но, конечно, тогда он еще не знал, что страх пауков и змей у человека врожденный. Да и если начистоту — смех убить не может, он может только придавить. Я видела, как внутреннее стекло начало потихоньку запотевать. Вспомнила отца и постаралась представить, что у этой страхолюдины там приступ астмы или прогрев двигателя. Сработало не особенно. Я подумала, может ли он умереть от фейри или нет. И специально стянула губковый корсет прямо над ста-

каном. Потом опустила кран, смахнула воду с тарелок и вытерла руки сырым полотенцем с кислым запахом.

Я вернулась на кухню через час. Живой. Твою мать. Наверное, надо было подсунуть бумагу, достать его из раковины, в окно выкинуть или вынести на улицу. Так все хорошие люди обычно делают. А я, я — хороший человек? Можно ли хорошим людям бояться пауков, накрывать их стаканом и ждать, пока они там умрут? Я не хотела об этом думать, не хотела ничего решать — ни за зверюгу, ни за себя. Ничего, потерпит. Я же терплю как-то, я же терплю. Уже двадцать с лишним чем-то набитых лет терплю этот неколпаковский колпак, вот и эта мразь потерпит.

Душный подъезд выплюнул меня на улицу в половине какого-то. Пахло Москвой и дынями. Приподъездная клумба стыла, как свежая могила. Это, наверное, Баадер — Майнхоф. Я ведь постоянно про нее думаю. Прошло уже почти два года, а я каждое сегодня представляю, что стало с внутренностями гроба. Оголился ли череп, отросли ли волосы, какого они цвета? Как это вообще все выглядит? Может, и хорошо, что я не знаю. В сущности, самое главное, чтобы покойник лежал на восток.

Пока шла до метро, хлопками проверяла карманы. Мало кто так умеет. Честно говоря, идти мне было особо некуда, но не идти никуда еще хуже. Решила, как

всегда, поехать в центр, а там посмотрим. Переводить все равно нечего, преподавать некому, а платить за закут только через две недели. Может, кто-нибудь опять откажется от проекта, и я возьму, как беру все, от чего отказываются. Я так на лестничной площадке однажды нашла оранжевую Ахматову, с ятями. Советский репринт эмигрантского издания, но все равно приятно. Книга, кстати, оказалась с родословной — на левом форзаце под протестным углом зиял инскрипт: «Отличнице Ане от Деда Мороза и его помощницы — Снегурочки, котора», и дальше — отек чернил. Хочется верить, что от Аниных слез — сложно представить более бездушный подарок для новой жизни. Я Ахматову не очень люблю. Она пишет красиво, но не то.

За туда-обратно в метро не произошло ничего интересного. В городе тоже было как-то нервно и безразлично, может, из-за погоды. А может, из-за меня. Единственное только — странное дело — в том букинисте, на Кузнецком, как-то сонно, видимо от безнадёги, упал мне прямо в руки очередной дореволюционный отказник — с покоцанной кофейной кожей и затершимся ликом. Ни буквы не разобрать. Зато на обеих сторонах форзаца, дважды зараз, клерикально черным пером было высечено — Камо грядеши? Ладно бы один раз, тут понятно: название, утопленное в обложке, вынырнуло с другой стороны. Но второй вопрос как будто в душу глядел. Куда

идешь? Я смотрела в эту рябую бумагу, как в зеркало, и безответно молчала. Куда иду? Господи, да разве ж я знаю? Куда-то туда, куда давно не надо.

Книгу эту, наскоро сунутую продавщицей в замызганный файл, я тоже усыновила, обменяв на тысячу, свернувшуюся калачиком в кошельке. Всунула ее в утробу сумки, пахнувшей переспелыми бананами, и грубой резиной скатилась по лестнице. Два года. Не верится, что уже почти два года. Хочется все забыть, распомнить, развидеть. Особенно кликушу эту на похоронах, в веселой махровой шапке. Милая, да как похожа-то, а, как похожа! Вылитая бабка! Все что угодно, когда угодно, но только не тогда. Справедливая, но неместная фраза эта застряла в моей голове, навсегда въелась в розовое сало и продолжает напоминать мне тот самый момент, когда я вдруг, своими же глазами, увидела, как батюшка прочтет разрешительную молитву — надо мной. Как будут хоронить меня. Вот, стало быть, ради чего нужны старики и отпевания: там почти любой уснувший невидимо стучит своим морщинисто-скрюченным указательным пальцем по левой руке, напоминая пришлым, что времени не так уж много. И что камо грядеши.

С тех пор я каждый день боюсь умереть. Каждый день слышу, прямо через многоэтажность кожи, как ухает, колотится мое сердце, чувствую, как переключаются его клапаны, режимы. Как качается на-

электризованная машинная кровь. И так жутко от того, что дергается только лево, без право. Сразу думаю про половинчатый паралич, я видела его однажды. Ведь тот человек, засыпая, наверняка не предполагал, что завтра окажется еще не там, но уже не тут — прямо как сестрин ухаль. Что ложе придется делить с умершей половиной себя — и не привыкать, если который год спишь с тем, кого давно разлюбил. Это я видела не раз.

У всякого стука — функция страха и освобождения. Вот, еще одна секунда твоей водянистой жизни прошла, бездумная и подловатая. Кардиолог говорит, что нормальный человек свое сердце не слышит, но я слышу постоянно, стало быть, все подозрения в собственной унтерменшности вполне оправданы говором крови. А ей все нейдет, заразе. С разбегу бьется в покатые грязноюдные стенки, в истерике что-то лепечет, пытаюсь то ли предупредить, то ли напугать. Даром что привыкла обходиться без кислорода.

Иногда посреди ночи я нахожу свое тело проснувшимся в позе трупа, на спине, со сложенными на груди руками. Говорят, так спят буддистские монахи. Довольно символично, учитывая, что *memento mori* — моя ежедневная, облюбованная медитация. Я это делаю неосознанно, в приступе паники разума, считающего смерть крайне несправедливым изобретением, ведь она забирает сознание, на чью про-

стройку уходит целая жизнь. Сознание, в отличие от кожи, не стареет — я точно знаю, — оно может только взростеть. Старики, под конец открывшие Еврипида, — разве не пример? А отправить к скучающим праотцам то, что еще не выросло и не вырастет, потому что дверной плинтус всегда будет выше, может только фанатичный детоубийца. И эта неуютная мысль лезет мне под ногти с ежедневным исключением солнца, со скоростью тех живчиков цвета прокисшего кефира, что древние греки сравнивали с пеной. К этому регулярному ментальному онанизму я уже привыкла. Какая, в сущности, разница, кто умрет первым — я или мир. Без меня его попросту не будет существовать. Он взорвется и истлеет прямо в моих потухших глазах. Интересно, кто их будет закрывать.

Сны я вижу соответствующие, если вообще их вижу. По большей части они пустые и темные, как у новорожденных, а все персонажи там почему-то грустные, озадаченные, словно не могут вспомнить, закрыли ли дверь на ключ, когда утром выходили из дома. Расскажу один, мой любимый. Я стою где-то в районе Китай-города, на одной из его тихих улиц со вспенившимся асфальтом. Предзакатное лето, теплынь, вокруг ни души. Пахнет прогретым железом. Все бы хорошо, только я сильно нервничаю, переживаю, неприятно прею, потому что прямо сейчас

мне надо сделать какой-то сложный выбор, решить какой-то свербящий вопрос в духе Иова, или — или. Хоть убей, не помню, в чем было дело. Решаю кинуть монетку, отписав каждому из вариантов по одной из ее личин. Мы ведь так делаем не чтобы довериться выбору, а чтобы узнать у глубины себя уже принятое решение. Потому что пока монетка крутится в воздухе, мы просим ее упасть какой-то определенной стороной — то ли решкой, то ли орлом, смотря что чему раздали. В конце концов, и пророки бросали жребий. И вот я, сощуриив глаза, с залетом правой руки и стуком в сердце подбрасываю монету вверх, приготовившись к слову стального оракула. Проходит секунда, две, три, а монеты все нет. Испуганно поднимаю глаза и начинаю всматриваться в слепящую тишину. Пусто. Так, с запрокинутой головой и с фокусом на всполохах умирающего дня, я простояла во сне несколько часов, пока не стемнело. Монета так и не вернулась. Русская поэзия бы на это сказала: ответ один — отказ.

Я помню это саднящее ощущение собственного бессилия сразу после пробуждения. Выбор не сделан, монеты нет. Я понимаю, что во сне все всегда на своих местах, это система закрытая, герметичная. И если я подкинула монетку, то там, на условном верху, кто-то с детской забавой ее поймал, лишив меня определенности и решения. Или — или? А может, ни — ни? Может, монета не вернулась, потому

что есть другой, третий путь? Или правда за бездействием? Но гадать смысла нет, хоть я и продолжаю — переменные не заданы. Сон вполонину недостроен или забыт. Но в небесной татьбе сомнений нет, святые сподличали. Кстати, не в первый раз.

Много чего в моей жизни приснилось, случилось и пережилось, и психолог, которого у меня нет, посоветовал мне найти доброжелобного собеседника и устроить с ним что-то вроде эпистолярной исповеди. Или писать самой себе, как говорится, в стол. Была идея завести дневник и скидывать правды туда, но на него нужен земной покой, а у меня его с лобик кошечки. Да и если вести, то только как государь император, по-аглички и чернилами, а самое страшное выводить карандашом. Но английский я никогда серьезно не воспринимала — мой отец читает на полу-нём свои фиолетовые веления. Лет двадцать пять — тридцать назад, то есть приблизительно как раз к моменту моего рождения, он вдруг отделился от чистокровного христианства и присоединился к какой-то американской секте, восстановившей якобы утерянные учения Иисуса Христа о карме и реинкарнации. Странно это. Мой отец ненавидит Америку.

Из его рассказов мало что ясно. Ребенком он жил с матерью матери и почти ежедневно прищуренным глазом наблюдал, как она прячет икону Николая Чудотворца, завернутую в марлю, в кухонные

шкафы, туда, где крупы хранятся. Икона эта его чудовищно бесила, и он время от времени дразнил бабу высоковольтными выкриками, что бог беспочвенное говно и он все расскажет соседям. Она его не лупила и голос не повышала. Просто сквозь зубы коварно шипела: «Помяни мое слово: Он тебя на том свете заставит языком лизать раскаленную сковородку». Только из-за этой фразы я и пошла однажды к ней на могилу — выразить уважение.

Потом в стране умер красный изм, и отец, как он говорит, прозрел. Молочными ручонками потянулся к святыням. Семья на тот момент раскололась окончательно, кто умер, кто пил, кто дрался на ножах. В одно из Прощеных воскресений отец позвонил всем близким родственникам, пригласил каждого в гости, а когда все собрались за столом, попросил примириться. Семью все-таки хочется, особенно когда она есть. Но и врученные друг другу прощения, сказанные под воздействием ноздревских кушаний и папиного молящего взгляда, мало что изменили. Кто как крови сторонился, так с тем и остался. Воззвание камнем рухнуло в воду, но круги от падения разошлись удачно, достигли нужного берега. Отца там уже ждали.

К общине этой он прибился благодаря объятиям нового друга и силе изреченного слова — доподлинным историям из жизни людей: тех, кто спасся, исцелился или проехал зайцем в электричке, чи-

тая защитные веления минимум по двадцать минут в день. Если вслушаться, то молитвы эти — доброкачественное звукоблудие. Не исключаю, что вера только с ним и работает. Перманентная любящая бытность я призывает облечь столпом света из личного всеильного присутствия бога да беречь его неделимо любой текущий миг явленным как искрящийся дождь изумительного божьего света чрез который никогда не сумеет пройти ничто людское и в этом удивительном гальваническом кольце священо настроенной энергии призвать стремительный всплеск сиреневого пламени милующего изменяющегося огня освобождения что безлетно возрастающая сила сиего жара отображаясь книзу в энергетическое поле собственных человеческих межзвездных импульсов целиком изменит любое негативное положение в позитивный полюс моего индивидуального бессмертного истинного я и волшебство его сострадания настолько омоет светом мой мир что любого поприветственного мною возблагодарит флер васильков прямо из подлинного сердца бога помня о сладостном утреннем дне когда все противоречие мотив итог указание и реминисценция вовек превращается в торжество света и пространство воскресенного иисуса христа безостановочно я осознающий сегодня тотальное всевластие и выражение сиего повеления света и зовущий его сиюминутное деяние

непосредственно наделенным богом независимым зовом и силой безгранично приближать это непогрешимое проявление поддержки из прямого сердца бога до тех пор когда все мы получим вознесение в мире вовек вовек вовек не увядающем. Всю подобность отец читал на двух языках зараз — сначала на русском, а потом на английском, хотя по-английски он не знает ни слова. Все потому, что эта американская духовная доктрина говорит, что английский — язык ангелов. Шах и мат, патриоты. Beloved I am, Beloved I am, Beloved I am.

Мне было все равно, чем тешился отец. Как-никак учить другой язык через веру — тоже неплохой профит. Но становилось совсем уж невесело, когда на все праздники, в личном или в государственном календаре, он с глубоким салатным выдохом, как будто что-то вспоминая, желал нам с сестрой встретить свое близнецовое пламя.

— Девчоночки мои, — ритуально начинал отец, — вы все это и так без меня знаете, мама ваша часто туда клонит, ну и я, стало быть, наклонюсь, только со своей стороны. Я коротенечко. Мы все здесь живем свое очередное воплощение, не только чтобы научиться или все такое, но чтобы познакомиться, войти в контакт со своим близнецовым пламенем, своей половинкой. Сейчас такое очень интересное время идет, когда как раз открыт портал и

близняшки могут встретиться вот прямо тут, на Земле. И для рождения световых детей тоже время хорошее, но это пока нам не грозит. Хе-хе. Щас, глотну. Так вот. Близнецовые пламена встречаются, чтобы в паре пройти путь вознесения или освобождения именно вместе. Эта миссия колоссально сложная. Поэтому эти встречи так редко и случаются. Придется потрудиться, постоянно повышать уровень собственных вибраций, это такой регулярный духовный труд. Ладно, я сильно на своем мнении навязывать не буду. Просто идите за сердцем, внимательно смотрите по сторонам, а когда того самого встретите, то сразу поймете, очнетесь будто, как в себя заглянете, себя обретете. Там такая буря чувств начнется, ой-ё. Мотать будет по всем семи чакрам, мама не горюй.

Мы с сестрой благодарственно чокались с отцом соком в хрустальных стаканах (алкоголя он не пил), и все молча продолжали застолье. Понятно, что все это он говорил искренне, подученно, но от души, желая дочкам удачно влюбиться, но у меня с детства где-то в глотке застряла стойкая уверенность — весь этот спектр чувств отец знает не по тайной наслышке. Не стоило даже и пытаться себя лицами в семейных фотоальбомах, чтобы понять, что мама не была папиным близнецовым пламенем, с какой спички ни зажигаешь. Это было видно по тому, как они не могли находиться вместе в одном месте: в магазины ходили врозь,

ужинали в разных комнатах. И спали тоже. Ничего общего с нравами европейских аристократов это не имело, мы семья простая, рабоче-крестьянская, без оттопыренных мизинцев.

Любви в браке моих родителей не было, одни страдания, избегания. Удивительно вообще, как эти совершенно далекие друг от друга люди смогли прожить столько лет вместе. Наверняка именно в этой двусмысленной наследственности и кроется тайна нашей жизни вполсилы. Детей они не могли завести долго, лет десять, чего только не делали — и лечились, и к бабкам ходили. Безрезультатно. В конце концов, решили расстаться по тихой грусти — бог, видать, не дал. Но бог — еще тот садист, стелет к себе дорогу через ад земной, развлекается и брызжет слюной, прикрывая рот ладошкой. После того тяжелого разговора на кухне не прошло и месяца, как мама забеременела. А потом, неделе на двадцатой, они поехали на озеро с отцовым братом, любителем поездок с ветерком по челябинским дорогам. «Зачем только села?» Машину конвульсивно трясло около часа. Через пару дней у мамы случился выкидыш. Неизвестно, что стало причиной — скорость и уральские колдобины или детский испуг. Может, он, этот наш первый, просто в какой-то момент понял, к чему все идет. Через пузырь нащупал эту зловонную пустоту жизни и решил, что нет, не хочет. Наверняка попробовал пред-

упредить сестру, но той всегда было плевать на чужое мнение. А до меня руки просто не дошли.

Родители прибились друг к другу по вполне понятным причинам — огульным решением жизни ни тот, ни другая не знали, что такое любовь. Отец ушел любить в религию, мама — в детей, забывая о возрасте и приличиях. Семейная ойкумена бодрилась только с приходом гостей и праздников, когда стулья кочевали из спален на кухню, включались фотокамеры и на зеркале в ванной гуашью рисовались поздравления. Мы жили вместе, но не знали друг друга. Это становилось особенно ясным в ссорах по пустякам, доходящих до хлопаний дверьми, застенных слез и кровной вражды. Отец тогда вел себя как чужой, нестабильный элемент, говорил, что все хотят, что делают, оглушенно запирался в телефоне или по-женски кричал, чтобы мы немедленно заткнулись, потому что соседи услышат. Или богомольно шептал в чашку чая, зачем на себя нагнетать пристальное внимание.

Отца я понимала лучше, чем мать. Та всю жизнь о чем-то молчала, и это что-то висело в ее глазах освежеванной тушей. Я знала, что нам она рассказать не может, что это как-то связано с семьей или ее прошлым, и даже сверхмерный алкоголь не мог его раскочкать. Так хорошо она себя выдрессировала. Собою же данное прещение выливалось у нее в разные болезни — от физики до психики. Она страдала ноч-

ными приступами нехватки воздуха, сдавливанием в груди и зажимами в шее. В глазах ее никогда не потухал предыстеричный, водянистый свет, готовый разлиться при самом легком нажатии. Но плакать при детях она себе не разрешала, пряталась то за паром утюга, то за нарезкой лука. Или сглатывала слезы подозрительно беспричинным комикованьем, особенно неудобным в моменты сложных уроков или подростковых драм. Я не помню, чтобы она была просто рада жизни, просто довольна, просто нормальна. Ее бросало из состояния в состояние — срединных почти никогда и не было. Никто из нас не знал, как ей помочь, да и нужно ли, поэтому мы с сестрой просто хорошо учились, а отец просто тихо ходил на службы, выплескивая всего себя в гул братьев с зажженными свечками.

С возрастом маме стало еще хуже. Дети выросли и уехали в столицу, поступили в университет, и вместе с ними уехал весь смысл ее жизни. И если раньше она смотрелась в нас, то теперь — в обычное зеркало, и видела там то самое, зревшее годами, как подкожный прыщ, болючий и ноющий. Она звонила нам почти ежечасно — «А видео, видео включи!» — и рассказывала про цены в магазинах, соседские рейвы и овнучившихся подруг. Ей хотелось, как они, — родить еще одного или двух во втором колене, спрятаться от жизни в знакомом — в детях. Та-

кой себе паллиатив. Мы же с сестрой давно перестали быть детьми — с тех пор, как не влезли в дворовые качели. Мама наверняка понимала, что пересматривание фотографий двадцатилетней давности не воскресит ее малышей. Но она пыталась видеть их в нас через нас, в тех, кто будет дальше. Отцу этот план тоже был выгоден. Так как официально позволял ему выключиться из семьи на пару лет, а потом неожиданно включиться, вернуться в нее, что называется, с новыми силами, сказав, что все его молитвы сбылись. Поэтому единственная тема наших разговоров, где мама с папой участвовали наравне, — строительство личной жизни. Ведь теперь ценность их дочерей измерялась в возможности внуков и удачного брака. Удачного, а не счастливого. Нам не светило ни то, ни другое.

Ладно я, со мной все было понятно сразу. Но иное дело — сестра, вот за кого обидно. Науськанная отцовским вариантом истории про андрогинов, она осознала необходимость отношений еще в детском саду. Эта идея впиталась в ее тонкую кожу, каталлизировалась диснеевскими мультиками и обратилась в веру, что самого себя недостаточно и что цель жизни — найти свою любовь. Сестре постоянно не хватало кого-то второго, того, кто подтвердил бы эту систему личностного восполнения, кто лег бы последним пазлом в финальной картине.

В юности она влюблялась быстро и бездушно, как программа, выбирающая случайное число. И конечно же, в тех, кому она была совершенно неинтересна, абсолютно не нужна. Сестра делала все, чтобы убедить мужчин в обратном, взорвать эту матрицу и перекроить ее по-своему. В ход шли кулинарные изыски, игры на слабо, изучение истории русского рока или американских фантастов. Она выпытывала из своих жертв все интересы и слабости, изучала их с дотошностью психически нестабильного аспиранта и так заполнялась сама. Одиночество, пусть и временное, ее убивало (даже уроки делала с включенным радио), и она Ионой заныривала в пустых людей, до скуки в них плескалась и только после вылезала на свет. Такой же голой, как и была.

Важное десятилетие молодости сестра прошаралась черт знает с кем, и к началу четвертого жила не одна и не в браке, а, как сказал бы отец, в кармической связи — со мной. В ее неудачах я винила понятно кого, сестра — судьбу, искренне не понимая, почему ни с одним из бывших у нее не сложилось. Что бы ни происходило, она продолжала слепо верить в обязательную вторую половинку, которую она со слюной у рта прождала почти двадцать лет. Напрасно. Одна из ее немногочисленных подруг как-то посоветовала сестре прекратить поиски и заглянуть в себя, мол, все ответы там, ведь отношения с людь-

ми — это проекция отношений с самой собой, понимаю, шаг нелегкий, но его нужно сделать, и осознание проблемы — уже половина решения, надо просто поблагодарить свой страх за заботу, сказать, что во мне достаточно силы, мудрости и решимости изменить жизнь, и двигаться вперед, к целостности и лучшей версии себя, за что и была послана на хуй.

В какой-то момент я поняла, что сестра устала. Устала от сита под сердцем, куда проваливались все ею встреченные. Разочаровалась в поиске и в отцовских словах. Мужчин она стала брать как бы в кредит, женатых — часто, и накормленных — всегда; тех, с кем не надо возиться, кого не надо впечатлять, за кем не надо ухаживать. Ничего не требовала, на семью не покушалась и истерик не закатывала — просто жила где-то перед собой и принимала все, что предложат, а там — что бог пошлет. И он посылал их в нашу московскую однушку не часто, а так — время от времени. Все были разные, но в чем-то похожие, безучастные, с какой-то одной застывшей эмоцией на лице. С белесой кромкой засохшей слюны на толстых губах. Иногда казалось, что сестру они даже не видят, не узнают, смотрят будто насквозь, воспринимая все происходящее как сон или сон во сне. Все они были неправдоподобно приличные, тихие, окольцованные, про которых «никогда бы не подумала», и я сразу представляла лица их жен или матерей, если бы

те вдруг узнали, что их дорогой задерживается на работе не свойственного ему характера. Сестру все эти детали, по-видимому, совершенно не интересовали, равно как и блеск желтого металла. Она продолжала молча пополнять свою кунсткамеру, проживая вертикаль эмоционально-нравственной свободы — от выученных уроков, времени и надежд.

После двух-трех таких непродолжительных историй сестра стала часами просиживать на покатам краю кровати, слушая петербургских рэперов, ссутулившись, натирая большим пальцем правой руки ноготь на большом пальце левой, прямо как мама, когда нервничает. Эта сцена почему-то сразу напоминала мне ту, что часто повторялась в детстве — сестра играла во вдову, обернув голову черным платком и поставив перед собой зеркало. Плакала она очень горько, как взаправду, неостановимо, заразительно, чего после не случалось никогда. Испуганные наши родители приседали, заглядывали в мутные детские глаза и спрашивали дочу, что такое. А доча шлепала намокшими губами из-под самодельной вуали и, солено заикаясь, говорила, что у нее умер муж и она скорбит. Просила всех оставить ее в покое, кроме воображаемого друга покойного — единственного, кто способен ее утешить. На руках она держала спеленутую куклу, качала ее даже на бестелесных похоронах, — родная кровиночка ведь, все, что осталось

от почившего супруга. Рассказал бы кто про ловцы слез, тут же бы намудрила, за края бы лилось. Никто не знал, почему этот жуткий сюжет стал основным в ее детских играх и тянулся лет до десяти. (Отец, конечно же, быстро нашел всему объяснение, сказав, что ребенок еще помнит прошлое воплощение, а там мало ли что творилось, ну или приспосабливается к этой реальности, и вообще оба варианта имеют на жизнь.) Не знала и я, почему теперь сестра напоминала шестисемивосьмидесятилетнюю себя. Может, хоронила их всех, а может — что-то свое. Как я тогда, зимой.

Мои детские игры, кстати, тоже были на уровне. Когда мне исполнилось восемь, мы переехали в старый город, в другую квартиру, побольше и похуже, и отец дал залп к началу ремонта длиною в жизнь. Со стен сошел обойный эпидермис, полам вспоролли брюхо, и все три комнаты превратились в декорации к съемкам про Вторую мировую — я начала играть в блокаду Ленинграда. Ела мамин куриный бульон скрюченной алюминиевой ложкой, которая гнулась в разные стороны, как продажная балерина, заблаговременно очистив его от всего, что имело вес, и оставив одну только вспотевшую воду. Тарелки я выбирала исключительно походные, с отколотыми боками и трещинами, которые в садах и на дачах, смотря кто что как называет, ставят у входной

двери — для кошек или собак, своих и пришлых. Мне нравилось представлять, что за стенами людей давит катастрофа, рвутся сердца и режутся серебряные нити жизней, а я тут, дома, на кухне, пытаюсь выжить на воде, хлебе и высушенных чайных пакетиках. Всю еду, которую мама любовно заворачивала мне с собой в школу, я закапывала за углом дома, под кустами сирени, как только выходила из подъезда. На черный день. Шла на уроки, оглядываясь, не следят ли переодетые немцы, а если замечала подозрительного персонажа, то добиралась до пункта назначения перебежками. Очевидно, что мне уже тогда было мало внутривенной войны.

Лесной абсурд этот продолжался около года, пока родители всерьез не обеспокоились моим нездоровым вечерним аппетитом и вечно бурыми манжетами. Блокаду пришлось прервать. Но наши голые, проскальпированные стены никак не давали мне покоя, с каждым днем эпичнели, заворачивали своим режущим холодом, если чуть не дотронуться до них кожей на щеках. Я гладила их, нюхала, разрисовывала мелками, всматриваясь в их чалую щетину, и благодарила за то, что они стоят. Отгораживают. Дамбуют. Хранят. И новая игра родилась сама собой — я начала их простукивать, ища там наверняка спрятанный клад вроде драконьего яйца, красного мешка с золотом или утраченных исторических доку-

ментов. Ведь находит же кто-то монеты времен царской России в замурованной бутылке из-под кефира или в спичечных коробках — чем наши стены хуже? Я много наблюдала за отцом, за звуком от удара его жилистых загорелых костяшек — сначала по надутым августовским арбузам, потом по этим обритым мярам, когда он с хирургическим прищуром прощупывал невидимые пустоты. Если ответ был глухим и закашлявшимся, отец одобрительно кивал, а если бодрым и счастливым — хмурил и обводил болячку цветным карандашом.

Мое исследование стен, как правило, шло по ночам, с фонариком и миской молока — где-то я прочитала, что оно используется в качестве невидимых чернил. В неполной темноте оно, упершееся в гладкие изгибы фарфора, казалось мне почти черным, а иногда — совсем черным, вроде моря после заката. Я по-отцову вытягивала вперед первую указательную фалангу правой руки, вот как-то так, чтобы было ногтем на себя, и приступала к обходу. Стучала хило и неумно, а так, звукоподражательно, как люди, изучающие другой язык. На любой сомнительно здоровый говор — припадала горячим ухом к стене и не дышала, слушала. Приняв решение, крестила место пальцем, окунутым в белую воду, а если его не хватало, то двумя, по старинке. Иногда от моего неосторожного движения молоко, прижатое к жи-

воту, выходило из берегов холодной плоски и жгуче струилось по голым детским ногам. Ай. До кухни было ближе, чем до ванной, и я босила туда, стягивала влажное полотенце, пропахшее завтраком, обедом, ужином, и вытиралась им. Идти мыться было слишком опасно — вода зашумит и кого-нибудь разбудит, придется объясняться. Поэтому я сразу шла в кровать, чувствуя, как липкая, застывшая на ногах жидкость стягивает волосы в узел. Утром, распахнув одеяло, я щурилась от сытого, животнo-сладкого запаха, вызревшего за ночь под толстым слоем пуха. Так пахло дома у бабушки, когда она садилась пить растворимый кофе с нюмилки экстра, две ложки, банку поставь на место. Так пах мой лоб, когда я родилась. Так пахнет смерть, которая уже ушла или скоро придет.

Что-то похожее и теперь висит в воздухе, когда я просыпаюсь, уставшая, поздно, около четырех. Незадуваемая свеча в моем позвоночнике горит всю ночь: бессонница — моя работа. Она заставляет меня искать что-то или кого-то или что-то и кого-то вместе, но ни того, ни другого не удалось до сих пор застать на своих местах. В темноте, кстати, иногда слышно, как дышит собственная душа, так тяжело и страшно, как будто следующего выдоха не будет или в тебе сопит кто-то голый. С телом она работает посменно, и неясно, кто из них налил мою грудь, которая, ка-

жется, вот-вот лопнет, но не от вязкой питательной лавы, а от мыслей весом в новорожденного ребенка. Самое противное в том, что не спишь, — звуки. Летом слышно, как поднимается зеленое утро и птицы, которых я никогда не вижу, вскрывают тишину своими лужеными глотками, способными разбудить левиафана. Зимой все открывает глаза, когда сосед снизу начинает прогревать темно-синюю четверку, купленную в конце девяностых за доллар в тридцать пять рублей, и счищать наледь с лобового стекла пластиковым беспонтовым скребком, позволяя божьей матери следить за дорогой. И то, и это значит, что сон откладывается еще на пару часов, пока все не выгуляют своих психически нездоровых собак и не уйдут сидеть — сначала в метро, потом в офисе, сcejивая жизнь в сливное колено. А когда отключают батареи, в мае, становится совсем кисляйно — разинутый рот духовки на сто шестьдесят пять градусов и вечно холодные ступни, сжимаемые под тонким застиранным покрывалом, метящим в одеяла. И пока поверх не набросишь фиолетовый халат из дубового флиса, гусиная кожа не сойдет. Кроме как из самой себя тепло мне сосать неоткуда.

И все же под утро, перед возможностью сна, словно оправдывая двойную кровать и на что-то надеясь, я кладу рядом с подушкой какую-нибудь книгу, написанную мужчиной. Что-нибудь из классики